

Худшая из опасностей — потеря своего Я — может пройти у нас совершенно незамеченной, как если бы ничего не случилось. Ничто не вызывает меньше шума, никакая другая потеря — ноги, состояния, женщины и тому подобного — не замечаются столь мало.

Сёрен Кьеркегор

Пролог

Мне не раз приходилось слышать про себя одобрительное «он дружит со временем». От слов этих меня всегда передергивало. Дружба предполагает теплые отношения, степень приязни, которая чувствуется и выражается словами или действиями, взглядами, на худой конец, жестами или прикосновениями. Ничем из вышеприведенного мои отношения со временем не страдают. Страдаю обычно я. Да и не то чтобы страдаю — просто жду. Терпеливо, постоянно и нескончаемо. Жду, чтобы время прошло. Чтобы оно наконец-то закончилось. Нет, я жду не эпического «окончания времен». Мне хочется, чтобы кануло в прошлое не понятие, не абстрактная концепция, не сама история — надо всем этим я никогда особенно не задумывался — а конкретный, отведенный для чего-то промежуток времени. Когда я учился в школе, то ждал «взрослой жизни», ждал, когда наконец поступлю в университет, когда смогу не ночевать дома или приходить после одиннадцати вечера. Ждал возвращения папы из заграничных командировок с подарками и летних вылазок в Прибалтику с мамой. В университетские годы я ждал каникул, следующей пары,

вечеринок, выходного дня или просто окончания какой-нибудь особенно скучной лекции. В понедельник я ждал пятницы, в десять утра я ждал обеда, в самолете — приземления, а читая книгу — развязки. Все эти ожидания наделили меня необычным даром. Я стал чувствовать время, чувствовать его течение, петляния, повороты, минуты и даже секунды. Надо мной посмеивались, мной восхищались, а я неумоимо делал свои четкие предсказания: «до конца урока осталось тринадцать минут», «пойдем быстрее, перемена заканчивается через семьдесят секунд», «не спеши, до фильма еще тридцать семь минут». И так *ad nauseam*.

Все это происходило до появления мобильных телефонов, электронных табло и цифровых потоков, четко нам подсказывающих сегодня, где именно во времени мы находимся. Во времена моего детства оно просто определялось по наручным хронометрам и привычным для Москвы, где я вырос, циферблатам уличных часов, частенько, надо сказать, врущим. Вранье часов я тоже чувствовал, но оно мне всегда приходилось по душе. Именно вранье, а не явные поломка и простой. Казалось, через неточные часы время давало мне передышку, позволяло надеяться, что в какой-то момент я смогу перестать ждать, смогу выключить неумолимый метроном у меня в голове, отсчитывающий секунды, минуты и часы, не давая надежды, что отсчет когда-нибудь завершится.

Впервые я заметил время в спальне родителей. На антикварном прикроватном трюмо моей мамы стоял симпатичный и абсолютно не вписывающийся в весьма элегантный интерьер комнаты обычный со-

ветский будильник. С желтым корпусом и черными цифрами. Секундная стрелка грубого механизма издавала вполне различимые звуки, а я, лежа на кровати, смотрел на циферблат и отсчитывал. Чаще всего секунды, реже — минуты, оставшиеся до возвращения родителей домой или до передачи «В гостях у сказки» или «Международная панорама», двух обязательных к просмотру программ в мои шесть лет. Я смотрел на будильник, слушал ход механизма и с каждым шагом тонкой длинной стрелки, будто замороженный, все глубже проваливался в безвременье пустоты и тишины, которое нарушало только тиканье. Я мог часами просиживать перед этим будильником, слушая течение времени, ожидая, когда оно закончится.

Внутри этого ожидания, внутри отведенных минут и часов, я испытывал два чувства. Первое — желание, чтобы время подошло к концу. Нетерпением это назвать было сложно — я не чувствовал ни фрустрации, ни раздражения, которые обычно сопутствуют напряженному предвкушению. Это была простая, но четко выраженная потребность в завершении определенного отрезка времени. Второе — спокойствие, подобное медитативному трансу. Часы, время выполняли функцию гипнолога. Они вводили меня в протрацию, но точно так же и выводили из нее, напоминая, что ожидание скоро закончится, и мне нужно будет выйти из комнаты, чтобы включить телевизор или встретить вернувшихся домой родителей. В самом трансе было легко, пусто и спокойно — тикающий механизм, тишина и зачастую, если дело было весной или летом, солнечный свет, льющийся в выходившее

на юго-запад окно и приятно нагревавший комнату. Под тикающие часы я любил ударить по покрывалу и смотреть, как в солнечных лучах под ритм секундной стрелки с покрывала сначала поднималась армия пылинок, а потом растворялась — не помню, в воздухе ли, в моем ли отсутствии внимания — все оно было поглощено временем — или просто в свете солнца. Иногда я подходил к окну и смотрел на прекрасный высокий дворец, который родители называли полным звучным словом «университет». Время шло, секунды медленно убывали, а я, насладившись видом, возвращался на кровать и понимал, что мне хватило трехсот восемнадцати секунд, чтобы пройти по маршруту будильник — окно — университет — будильник и вернуться к ожиданию окончания времени в пустоте, нарушаемой только звуком исчезающего настоящего.



I

Восемнадцатого июня 1998 года мой внутренний хронометр сначала замер, а потом и вовсе остановился. Вновь обретенная способность не слышать тиканье стрелок каждый раз, когда я оставался наедине с собой, была мною едва замечена и принята после кратковременного удивления. Я настолько привык к позванивающему металлическому аккомпанементу моей жизни, что его исчезновение мимоходом могло случиться только в обстоятельствах, порядком отличавшихся от моей обычной рутины. Так оно и было. Не имея представления о том, какими именно они будут, я ждал этих обстоятельств тридцать семь недель, слушая течение приближавшегося к этому дню времени, производя в уме нехитрые вычисления и чувствуя, как двадцать два миллиона триста семьдесят семь тысяч шестьсот секунд, оставшихся до той летней поездки, превращаются в двадцать один, семнадцать, одиннадцать миллионов, пять, два. Наконец, ожидание закончилось и началось приключение, во время которого мой внутренний секундомер меня покинул. Ничего не сказав на прощание. Просто ушел.

В тот июнь я помог Кире, своей двоюродной сестре, бежать из отделения для душевнобольных парижского госпиталя Некер. План побега был разработан ее сожителем, швейцарским программистом Даниелем — щедедушным тридцатилетним бесцветным очкариком с усиками, крошечными ушами и четко устоявшейся жизненной схемой. Отрабатывал восемь-десять месяцев помощником системного администратора в технологическом отделе крупной компании, Даниель намеренно допускал грубую ошибку, получал расчет и путешествовал по Африке на пособие по безработице или выплаты от компании. Но постепенно выплаты уменьшались, а потом пособие и вовсе переставали платить: продолжение вояжа становилось невозможным. Обычно это происходило на седьмом-восьмом месяце поездки. Дан возвращался в Европу, отдыхал пару недель у родителей в комфорте швейцарского кантона Во, где папа Даниеля был исследователем в ЦЕРНе, и незатейливая схема повторялась. Путешественник переезжал в Париж и, будучи редкой для девяностых годов птицей — талантливым специалистом по информационным системам, без каких-либо усилий снова устраивался на работу. До посинения уделывался наркотиками под великолепное техно уютных клубов девятого квартала и ждал момента, когда снова сможет упорхнуть в свою африканскую мечту.

Кира ездила с ним, а после каждой поездки считала своим долгом позвонить мне и восторженно описать очередное «сказочное путешествие». Рассказы

эти, в основном, были мне малоинтересны. Бегущая за Кирой толпа деревенских детей, никогда не видевших светловолосых, голубоглазых девушек. Вечера в ночных клубах Котону и Ломе, где Кира почти развязно, но медленно и уверенно двигалась под ритмичный фанк Гвинейского залива в дымном полумраке залов, ласкаемая восторженными взглядами белозубых местных парней. Рейв в саванне, организованный отпрысками местной буржуазии, учившимися в Англии и пригласившими Киру, а заодно и Даниеля, на вечеринку, познакомившись с ними в музыкальном клубе в Аккре: пульсирующие ритмы африканского техно под кронами баобабов, залитых густыми рассветными тонами. Атмосфера путешествий отдавала не только экзотикой и весельем. После каждого Киринога рассказа у меня неизменно возникал вопрос о том, что именно приносит ей ту самую — острую и блаженную — радость в этих поездках. Невинная искренность детских улыбок? Любовь к африканской музыке? Или просто ощущение собственной значимости, которое так легко получить там, где внешность, акцент и довольно тощий по европейским меркам кошелек поставят тебя на недостижимую для местных высоту. А ты с этой высоты будешь благожелательно взирать на происходящее вокруг, напиваться восхищением от коренных жителей и смаковать чувство собственной ликующей неповторимости.

Несмотря на сомнения в мотивах восторга Киры, одна история об Африке все же заставила меня если не позеленеть от зависти, то подумать о том, что Ки-

риным желанием возвращаться туда движет нечто большее, чем простое тщеславие, помноженное на любовь к бюджетной экзотике.

Во время своего второго путешествия по Бенину сестра — в поисках все более высокого градуса африканской аутентичности — оказалась в деревне на западе страны, затерянной на окраине густых тропических лесов. Обычная прогулка к ближайшему водоему — искупаться на пленэре перед продолжением вояжа — закончилась неожиданным сполохом сказки. На поляне у водопада летали красно-черные бабочки — на вид похожие на наших репейниц и павлиний глаз. Только размером те мотыльки, что Кира увидела, отличались от бабочек средней полосы. Размахом крыльев они были с Кирино предплечье. В паточном, почти розовом зное полуденного воздуха плавно порхала пара дюжин восхитительных эфирных существ, похожих на фей из «Дюймовочки» Андерсена. Кира остолбенела — все очарование, которое было до этого в ее жизни — парижские и московские бульвары, средиземноморские рощи, американские каньоны и африканские саванны — оказалось где-то в прошлом, которое безвозвратно покинуло Киру, обрубилось, ушло именно в тот миг. Растоптанная невыносимой красотой момента, моя сестра достала фольгу, стеклянную трубочку и пакетик с коричневатым порошком, которые ей подарили в одном из музыкальных клубов Котону. Высыпала порошок на фольгу. Подпалила снизу и вдохнула за клубившийся с фольги дым со вкусом абрикосовой косточки — горький, ореховый, терпкий. Мир моментально превратился

в обитое шелком и мехами нежнейшее место, населенное любовью, разливавшейся по телу пленительным теплом, гигантскими бабочками и журчащими водопадами. С этого момента Кира влюбилась в Африку, героин и кочевую жизнь без вчера, без завтра и, в общем-то, без сегодня. Не раздумывая, она бросила Сорбонну, работу и общение с друзьями: оставила любые попытки следовать стройному буржуазному канону, в котором мы выросли.

Жизнь сестры превратилась в сладкие грезы, озвученные музыкой, которую слышала лишь она. Один за другим тянулись красивые, маленькие «здесь и сейчас», доведенные наркотиками до состояния сказки, и Кира по ним скользила, как серфингист по волнам, не зная, куда ее вынесет и что будет на суше. Она делилась со мной только этой красотой и оставляла за кадром то, что с ней происходило, когда она не была в сказке.

Я мечтал жить, как Кира — с ее беспечностью, долгими путешествиями в места без времени и обязанностей, наполненными солнцем, звуками тамбуринов джембе и красной пылью бесконечной дороги. Мечтал жить, как кочевник нового времени, с достатком питьевой воды и прочих комфортах, и грезил о всей той недоступной мне упоительной легкости, с которой, казалось, моя сестра идет по жизни. Я остро завидовал свиданиям с африканскими бабочками, с музыкой и под нескончаемые звуки тикающей секундной стрелки продолжал грызть гранит науки, ожидая начала взрослой жизни в тихо ненавидимой мной юридической аспирантуре скучнейшего города

на земле — Вашингтона, куда меня направил не терпящий возражений перст профессиональной ориентации моих самых что ни на есть практичных родителей. «Мы не будем оплачивать обучение в Америке на философа. Если хочешь стать как дедушка, читай книги и напиши диссертацию в России, в Америке нужно учиться на юриста и получать профессию, которой можно заработать себе на кусок хлеба», — в унисон произнесли родители и закрыли вопрос моей карьеры. Я стал юристом и готовился зарабатывать себе «на хлеб».

Для студентов, изучавших международное право, моя law school устраивала летние ознакомительные выезды во франкоязычную Европу. Что и понятно — многие американцы, особенно из центральных районов страны, плохо представляли себе жизнь за пределами американского континента и были, собственно, настоящими валенками. Чтобы немного их обтесать, перед последним, выпускным курсом наша аспирантура организовывала не только визиты в международные организации, но и семинары по бизнес-этикету («пожалуйста, общаясь с европейцами, говорите „спасибо“, у них так принято»), лекции по моде — отдельно для студентов, отдельно для студенток («не носите пиджаки с рукавами, спускающимися ниже запястий») и пробные ужины в арендованных специально для таких случаев ресторанах, во время которых специально обученные люди нам напоминали, что «не надо есть так быстро».